

Л. Н.  
АНДРЕЕВ

*Избранное*



# Леонид Николаевич Андреев

## Мельком

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172405](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172405)  
Красный смех: Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет; М.: 2000  
ISBN 5-04-004476-3*

### Аннотация

В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами «железного века». Любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека – вот главные темы его повестей и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала XX столетия.

# Леонид Андреев

## Мельком

\* \* \*

По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освобожден только к десяти часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию, по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть, и ругал, ругал... право, не знаю кого. Весь свет ругал: и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путаных переулках, пролежавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же темно, как и у меня на душе. По времени свету полагалось больше – это происходило в последних числах июня, – но перед тем только что пронеслась сильная гроза, с проливным дождем и

ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалялся непропитый пятак, и, возвратившись, с треском бросает его удивленному целовальнику, – и посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только, когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться противная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громяющими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черны-

ми ободами, а в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа и крики победы и яростные вопли побежденных поднимаются к небу, – когда вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну и буду киснуть в этой неподвижной духоте? А в книге еще хуже: сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий, во имя проклятого реализма порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро или медленно пройдет время? За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать – так пусть они умирают сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформе вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался

тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза – причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки, – стриженной круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким, хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию:

– Будьте, Семен Семеныч, солидарнее! Вас немного намочило, вы и починяйтесь.

– Но чем же я починюсь, Василь Игнатыч? Буфета нет.

– Это дело ваше. Толцйте и отверзется.

– Чему отверзаться-то? Стена.

Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства, и откатнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откатнуться и он только пользуется удобным случаем.

– Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? – спросил старик.

Весь он был преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки

препинания.

– Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина?

– Это дело ваше. А только я не старина, я – Василь Игнатич и всякой пьяной свинье не товарищ.

– А сами-то вы не пили? – оскорбился тот.

– Это дело наше.

Другая пара стояла между тем в нерешимости.

– Уйдем, Саша, тут пьяные.

– Ничего, они тихие, сядем вон там в углу.

Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее – чистый и мягкий – звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины, с ласковым голосом и уверенными движениями, особенно хорошо ухаживают за больными.

Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука.

– Милый, тебе не холодно?

– Конечно, нет, – ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость.

А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу.

– А как нас знатно вымочило! – продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом. – И как страшно в лесу, когда гроза.

– Ну, что там страшного. Скорее – приятно. А твои там, дома, не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда.

– Пусть их, – ответила девушка и счастливо рассмеялась, но тотчас же перешла в серьезный тон: – А странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь?

– Вчера.

– Вчера? – протянул голос. – И то ведь вчера. Вот потеха-то! Я думала, что они врут.

– Кто они?

– Да вот те, что романы пишут.

– Кстати, кончила ты Каутского? У меня просили его.

Ответа я не слышал. Уже давно доносился издали гул, тихий и неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закры-



вавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел:

Бледный месяц... плывет над ре-е-кою...

– Врешь, – комментировал старик с язвительностью. – Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи.

...Все в а-объятьях... ночной тишины...

– Хороша тишина! Орет как прищпандоренный.

...Ничего мне на свете... не нада-о-о...

– И опять врете. Полбутылки надо.

...Только видеть... тебя одное!..

– Эту рожу-то? Тьфу! – с омерзением плюнул старик.

– Послушайте! Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность.

– К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет.

Молодой человек задумался и решительно произнес:

– За эти слова я больше с вами незнаком.

– Дело ваше.

С другой стороны слышалось:

– Ты понюхай, Саша, как хорошо пахнет: листьями и еще чем-то.

– Да уж нюхал.

– Нет, пожалуйста, еще.

Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика:

– А вот с каким поездом мы поедем?

– Ни с каким.

– Н-ну? – изумился молодой человек и икнул. – Почему же это, хотел бы я знать?

– Потому что не пустят. Скажут: куда, пьяная морда, лезешь?

– Это кто же морда-то? Скажем: две пьяные морды.

– Да еще по шее накладывают, – ехидничал старик.

– О?

– Да протокол составят.

– О? – все больше тарасились глаза молодого человека.

– Да в титы. Посиди, голубчик, охладись, а то чувствителен больно.

Молодой человек задумался и торжественно провозгласил:

– Я с вами больше незнаком, потому что вы вредный человек.

Несмотря на то что эту торжественную формулу он заключил новой звучной икотой, видно было, что он огорчился и весь как-то потускнел, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства: оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик?

– Какой мрачный господин, – сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня.

Мне было приятно, что я замечен и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди – меня, у которого нет любви.

– Бабушку схоронил, – предположил юноша.

Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку, и почему именно бабушку, а не дедушку?

– Ха-ха-ха! – звонко рассмеялась девушка, но сейчас же, со своим обычным переходом к милой серьезности, добавила раскаивающимся голосом: – Быть может, он болен, а мы смеемся.

Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный, деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных и тех, которые нужно еще прочесть, а в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая, красивая девушка ловила каждое слово, которое скупно, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым! Рассыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы из своего неувядаемого венка, блистай перед ней Гейне всеми перлами язвительной насмеш-

ки и мистически-страстной нежности, плачь и хмурься перед нею Данте, соберись тут наконец все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои, она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволового молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это: и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существуют лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди, мы были лишь тени, картинки.

– Как быстро бежит время! – жаловалась она.

А я не знал, как убить это время!

– Может быть, мои часы спешат?

Маленькие золотые часики сблизились с большими серебряными часами, и обе головы склонились над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уж долго не определялся настоящий час.

– Кажется, верно? – смущенно сказал женский голос с легкой дрожью.

– Верно! – авторитетно сказал юноша.

Верно! Как слепы эти счастливые люди. Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные и пустые се-

кунды!

Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы, светлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух, на ближайшей даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные, стройные голоса.

– Пойдем слушать, – быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу.

Пойдём и мы – пусть до конца оттаивает застывшее сердце. Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной.

– Об одной тебе думу думаю, – плакал тенор.

– Думу думаю, – грустно соглашался баритон.

– Об одной тебе, моя душечка, – звенел слезами тенор.

– Душечка, – мягко подтверждал баритон.

– И умру я, жизнь проклинаячи, об одной тебе вспоминаючи...

– Об одной тебе вспоминаючи, – с глубокою тоскою

подтвердил баритон, и все стихло.

Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка и, когда песня кончилась, разом вздохнула – и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда слышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными: простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал как умел...

Ничего мне... на свете... не нада-а.

Только видеть тебя одное...

– Врете! – шипел старик, пытаясь заглушить кричащего. – Дубину хорошую надо!

Бедный старик! Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я.

Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре слышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка, и только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка, скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своею далекой дорогой к жизни и счастью.

Снова из-за стены вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздраги-

вая, свой стремительный бег. Находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб.

Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик с злорадством говорил:

– Что? Поехали?

– Нич-чево. Поедем на следующем.

– А на следующем и по шее накладут.

Я стоял на площадке вагона, против длинноволового юноши, пристально смотревшего на высокую, стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов.

– До свиданья, Саша, – сказала девушка.

– До свиданья, – ответил он.

– Прощай, – тихо молвил я, склоняя голову.

– До завтра! – донеслось уже издали и глухо.

– До завтра! – крикнул он.

«Навсегда», – ответил тихо я. «Навсегда», – прощались со мной черные силуэты деревьев и убежали назад. «Навсегда», – сказала платформа и скрылась за поворотом.

Однако пойти в вагон, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть



заодно и в записную книжку: куда и куда бежать мне завтра спозаранку.